



Н. В. Серебрянников

Архимандрит и отделение критики: судьба Бухарева

«Архимандрит и отделение критики» — так отмечена в черновиках романа «Братья Карамазовы» дилемма, решаемая Мишей Ракиным, одним из самых непривлекательных персонажей Достоевского, или — или. Как человек, вполне приемлющий правила игры, навязанные ему обществом, Ракин мог избрать лишь одну из стезей, и — по ехидному замечанию Ивана Карамазова — либо отважиться на «карьеру архимандрита», либо примкнуть «непременно к отделению критики» в левом петербургском журнале. Ракин, задуманный Достоевским гораздо глубже, нежели он является в известном тексте романа, мог стать и крестовым братом Алеши Карамазова — едва ли не своеобразным, арифметически расчислившим судьбу двойником главного героя, для Достоевского любимейшего, — но замысел о духовном братстве остался среди набросков, только намеком на некие будущие отношения стелется в сюжете возле Алеши серая тень Ракина.

Один из современников Достоевского, до публикации «Братьев Карамазовых» не доживший, тоже стоял перед подобным выбором, однако уже был и архимандритом, и — что удивительно — незаурядным критиком. Это о. Феодор, а в первые двадцать два года и в последние восемь лет жизни — Александр Матвеевич Бухарев (1822—1871). Помечая тяжбу Ракина с самим собою, Достоевский вряд ли вспомнил о монахе, чье имя некогда было у всех на слуху: бывших семинаристов и выпускников духовных академий в ту пору на журнальном поприще подвизалось много, архимандрит-публицист давно скончался, а до попыток серьезно осмыслить сказанное Бухаревым о духовном самосозидании как человека, так и общества — дело еще не дошло. Но понять и прочувствовать бухаревское учение о

деятельной любви Достоевский мог более, чем кто-либо: не только в беседах старца Зосимы данная, а и всей жизнью Достоевского выношенная правда о Христе яко нравственном начале, о вере как высшем знании, о принципе совинности и любви друг к другу (даже к пребывающему во грехе), о необходимости всенародного единения и устройства России — все это в работах Бухарева есть. А «великое послушание в миру», на которое старец Зосима благословил Алешу, — это именно то, на что осмелился о. Феодор и в связи с чем иногда вспоминался историками культуры: «Бухарев? А, тот архимандрит, что сложил с себя монашество?» — и до максимума из ряда опросов 1987 г.: «Что-то есть о нем у Григорьева и у Бердяева. Он о Гоголе что-то писал», — а священники называли книгу «О православии в отношении к современности»; иные, конечно, знали и больше. Станный подвижник не потерялся. Бухаревское «подкожное» влияние — как предполагал Флоренский, — не обминувшее Достоевского и Вл. Соловьева, теперь, на рубеже тысячелетий, проявляется не исподволь, не опосредованно, а все настойчивей: пришло «время собирать камни» (Еккл. 3. 5).

Взывая к согласованию жизненных потребностей с духовными запросами христианства, сораспинаясь с миром сим и его обличая, о. Феодор, прежде чем дойти до грани, где его ждала кьеркегоровская дилемма «или — или», употребил все усилия, дабы слова «архимандрит и отделение критики» воспринимались как нечто естественное и ни в коем случае не как противопоставление. О. Феодор нарушал нормы общежития — почти вне понимания и слева, и справа, а его высший взгляд на повседневность не казался пригодным для тех, кто неизменно в быту обретался. В восприятии большинства современников жизнь самого Бухарева обратилась в действие — с тем или иным социальным истолкованием.

I

Сын сельского дьякона, Александр Бухарев окончил в Твери Духовное училище, затем Духовную семинарию, поступил в Московскую Духовную академию и здесь, пред завершением курса, принял монашеский постриг под именем Феодора, став уже на следующий день иеродьяконом, а спустя шесть дней — иеромонахом. О. Феодора оставили при Академии преподавателем (бакалавром). Перед ним открывалась блестящая карьера, вплоть до архиерейства.

Но вдруг о. Феодор возвысил голос в защиту Гоголя, против резкой критики «Выбранных мест из переписки с друзьями». Появление этой книги он считал закономерным следствием самовоспитания Гоголя в духе зиждательной любви к ближнему, выказал единодушие с автором по вопросу об обязанностях, возлагаемых на человека его социальным положением, и костяк собственного труда увидел в том, чтобы разъяснить Гоголю основы и систему его же, гоголевского, мировоззрения. При размежевании общества на совершенных апологетов Гоголя и отчуравшихся от «Выбранных мест...» как бредово-обскурантского сочинения о. Феодор — вослед Ап. Григорьеву — не пожелал усмотреть противоречия между былым гоголевским творчеством и позднейшим, а уж данный Гоголю Богом талант художника и публицистические проценты, на сей талант заработанные, не могли ощущаться как нечто друг другу чужеродное. По обстоятельности и заинтересованности в должном решении проблем «Три письма к Н. В. Гоголю, писанные в 1848 году» просто неспособны утратить свою и научную, и гуманитарную значимость. Современники полагали иначе: прочтя написанное о. Феодором о «Выбранных местах...», митрополит Филарет воспретил публикацию, и тот с горя слег на несколько недель в больницу и целых четырнадцать лет не пытался выступать как литературный критик. Эта история породила миф, благополучно доживший до наших дней, — что-де «Три письма...» «фактически послужили причиной ссылки Феодора в Казань» инспектором в тамошнюю Академию, хотя между написанием «Трех писем...» и отбытием в Казань прошло шесть насыщенных событиями лет.

В год смерти Гоголя (1852) о. Феодор стал экстраординарным профессором, в следующем году его возвели в сан архимандрита. Вскоре началась Крымская война, о. Феодор взялся трактовать ее по Апокалипсису, и Филарет перевел неумемного монаха с глаз подальше, в Казанскую Духовную академию профессором; через год его назначили еще и студенческим инспектором.

В 1858 г. состоялся перевод архимандрита Феодора в петербургскую духовную цензуру. Он слабо верил в возможности, даваемые высоким постом, и даже при выходе своей брошюры «О принципах или началах в делах житейских и гражданских» другое произведение — «О картине Иванова “Явление Христа миру”» — распространял «самиздатом».

Известность пришла в 1860 г. — с книгами «Три письма к Н. В. Гоголю...» и «О православии в отношении к современнос-

ти», где взгляды о. Феодора на долг человеческий выражены с достаточной очевидностью. На каждое дело о. Феодор смотрел как на некое богослужение, и тайна бытия, освященная Христовой благодатью, представляла ему в подлинном значении: Христос Спаситель нес в Себе оправдание забот о мирском преуспеянии настолько, насколько творческое начало,веряемое Богом-Словом, сознавалось как необходимое условие дальнейшего существования в искуплении первородного греха; человечество способно спастись только в православном домостроительстве, ибо спокон веку мыслилось единым собором, созидаемым в любви Господней, и — по заповедям Сына Божия — всяк вносит свою лепту на храм и должно «уважать в каждом человеке образ Христа, хотя бы в ином и погребенного...» Одушевленный Христовой любовью и удрученный незрелостью общественного сознания, погрязшего в партийных склоках, о. Феодор убеждал, что здоровье нации зависит от гармонии мирского и духовного элементов, и был готов найти потаенный христианский смысл в нравственных исканиях даже своих атеистических противников. Однако он не страдал легковерием и упорно обличал мнимости различного рода — ложь материализма, ведущую вспять от Нового Завета, идеологические искушения со стороны той или иной религии, пустых позлащенных идолов повседневности. На вопрос Пилата ко Христу: «Что есть истина?» (Иоан. 18. 38), — архимандрит Феодор мог ответить только одно: истина — Христос. На этой точке стоя и посему не боясь сорваться в ересь, он чувствовал себя учеником апостола Павла, исследователем, свободным от схоластики и суемудрия, и — разумеется — впадал в обольщение, подставлялся под полемические уколы. Наставала нескончаемая травля с обоих полюсов тогдашней журналистики — злые насмешки левой печати и обвинения во грехах, множимые мрачным фарисеем Аскоченским, который — по сочному замечанию Лескова — «заклал» о. Феодора, «обонял воню его крови» и «бегал по стогнам с окровавленной мордой» («Загон»).

«У истины нет монополий», — говорил о. Феодор, стараясь примирить духовное и светское направления. — «Претензии на монополию в деле истины — вот что главным образом и разъединяет...» «Юродивый!» — отвечали ему слева. «Опасный!» — язвили справа. Задумав послужить Господу журнализмом, о. Феодор как проповедник братства оказался меж двух насмерть воюющих станом — не лучшее место, чтоб тебя поняли, — и с одного бруствера выглядел сумасшедшим (и уж никак не праведником). Если даже в Филарете, митрополите Московском,

хотели обнаружить христианского социалиста, то причислить о. Феодора к российским Ламенне было еще проще.

В 1860 г. он завершил и комментарии к Апокалипсису, но издание задержали и — паче того — вспомнили о давней просьбе о. Феодора переместить его в Никитский монастырь Переславля-Залесского и просьбу уважили. В феврале 1861 г. архимандрит Феодор покинул столицу; общественность оценила это как самую настоящую ссылку, и таковая трактовка удержалась до наших дней. Вскоре Синод совсем запретил публикацию «Исследования Апокалипсиса», и о. Феодор — по его словам — «решился на позор расстрижения, чтобы не оставаться в противных совести отношениях беспрекословного повиновения духовному начальству». В 1863 г. его расстригли, лишив и ученой степени, на что просто не имели права.

«Монастырь ваш — Россия», — сказал Гоголь своим читателям, и его утверждение о. Феодор принял всецело. Но, сняв пастырский сан, обратясь в вольного пропагандиста, он, возможно, лишился и благодати. 1863 год остался едва ли не последним творчески насыщенным годом Феодора — Бухарева: он работал по-прежнему, однако почти все им за восемь лет написанное и опубликованное — это отредактированные лекции, читанные в академиях, а среди новых сочинений — случайные заметки, некрологи и две рецензии. Тверь, Вышний Волочек, Ростов Великий, Переславль-Залесский — вот, не считая короткой поездки в Кронштадт, маленький пяточок земли, где Бухарев метался в поисках постоянного пристанища. Планы рушились. Вопреки фактам, пресса подхватила и утвердила мнение, что Бухарев «часто бывает близок к голодной смерти», — миф, возникший из духовной неустроенности и оставленности бывшего архимандрита. От журнального сотрудничества с Бухаревым теперь зачастую отказывались. Он видел свое «совершенное одиночество в нашей литературе...»

В «Трех письмах к Н. В. Гоголю...» выводимая программа самосозидания после наложилась и на то, что Бухарев написал как литературный критик о проблеме поколений («Отцы и дети» Тургенева), о проблеме новых социальных отношений («Что делать?» Чернышевского), о проблеме индивидуализма («Преступление и наказание» Достоевского); рецензия на тургеневский «Дым» пропала и доселе не отыскана. Захлебывающийся слог, сбивчивый синтаксис, длинноты очень затрудняли чтение, но донельзя лучше передавали сопереживание Бухарева, его отчаяние, что герои движутся к истине путями окольными и не дают себе труда понять, что она не может быть утилитар-

но-материалистически уясняемой. Статья «О романе Достоевского “Преступление и наказание” по отношению к делу мысли и науки в России», написанная в 1867 г. и в 1870-м доработанная, замкнула собою цепь бухаревских рассуждений о литературе и околотелитературной борьбе: «Достоевский, — объявил Бухарев, — есть прямой и пока почти единственный приемник и наследник Гоголя», имеющий здесь и великое преимущество, ибо входит во «внутренний процесс духовной жизни своих героев...» Вероятно, на пороге смерти возникла надежда о родственной душе, тем более что — по свидетельству вдовы Бухарева — «Достоевский сам, еще во время издания “Эпохи”, сочувственно отзывался об Александре Матвеевике и с укором относился к другим за враждебное к нему отношение».

Уйдя с избранной стези и принимая на себя совиновность миру, Бухарев, однако, не ожидал наступившей расплаты — в этом его трагедия — трагедия, которую Бог милостиво не дал ему осознать.

Бухарев скончался от чахотки на Пасхальной седмице сорока девяти лет от роду.

II

Аполлон Григорьев, чьи вдохновенные упоминания об о. Феодоре подчас вычеркивались редакторами «Эпохи», уже лет десять покоился в петербургской земле, когда в газете «Гражданин», выходившей под редакцией Достоевского, опубликовал статью Победоносцев. Переводчик книги Фомы Кемпийского «О подражании Христу» и будущий обер-прокурор Синода назвал Бухарева мелкоэрудированным путаником и жертвой болезненной фантазии. Жизненная позиция Бухарева осуждалась не только Победоносцевым, укрывшимся под криптонимом «В», но как бы и редактором, допустившим это мнение в печать, и, уж конечно, незримо присутствующим Гиляровым-Платоновым, чье влияние кажется тут несомненным: Гиляров-Платонов слишком хорошо знал и логику, и действительность, дабы вдруг поверить умозаключениям бывшего однокурсника, а Достоевский еще примеривался к «Житию великого грешника», и пусть в победоносцевском переводе Фомы Кемпийского можно прочесть: «Берегись любопытным умом входить в бесполезное исследование глубочайшего таинства...» — за проходными заметками Победоносцева ощущался нешуточный блок интеллек-

туального противодействия тому, что Бухарев проповедовал и чем пытался руководствоваться.

На рубеже веков имя Бухарева вызывало в памяти факты общественной или околоцерковной борьбы, и, несмотря на старания учеников о. Феодора, в лучшем случае — был интересен он сам, а его поучения воспринимались с прохладным сочувствием. Параллельно укреплялась легенда, что о. Феодор, подобно Агнцу Божьему, принял мир в свои объятия и пожертвовал собою ради общего спасения, — соображение, забавляющее тех, кто помнил молву о том, что опальный архимандрит выискивал истину Христову в нигилизме и, спасая-таки барышню от отрицательного направления, оставил крестный путь монаха и женился через полмесяца после расстрижения. При любой версии, даже в работах приверженцев Бухарева, он как личность выглядел неким социальным феноменом и довел своему христологическому миросозерцанию, сколь бы ни было оно православно.

Благодаря в основном подвижническим усилиям П. Знаменского, христоцентричная система Бухарева обрела права на научное существование, и авторитетные суждения «Православной богословской энциклопедии», во многом на П. Знаменского опирающиеся, укрепили Бухарева в сознании русской интеллигенции как своеобразного, хотя и вполне ортодоксального теолога. По утверждению, данному в энциклопедии, «богословие Б<ухарева> не следует изучать в отдельности, как, напр<имер>, истолковательное, догматическое, нравственное, обличительное. Оно едино, потому что это живое богословие...» П. Знаменский и В. Лаврский в связи с этим были готовы говорить и о православном философствовании, и о православном социологизировании.

Флоренский с его вниманием к церковным аутсайдерам (и с его меньшим вниманием к христологии!) посвятил бухаревской биографии немало времени, и лишь советская власть пресекала возможности выпустить в свет уже сложившуюся книгу. Флоренский считал, что в русской культуре XIX в. «архимандрит Феодор — одно из наиболее важных бродильных начал», а для «серебряного века» — «родоначальник религиозного и отчасти литературного течения...» Бухарев становился мифологемой, «персональным» ключом Флоренского, медиатором, способным поведать тайное тайных об откровениях и роковых заблуждениях времени, в котором возрастали духовные учителя гениев XX столетия. И в самом деле, Бухарев, как никто иной, сфокусировал в себе вопросы об отношении православия к современ-

ному российскому бытию — от 1860-х гг. до наших дней только обострившиеся.

«Понимание Бухаревым христианства можно было бы назвать панхристизмом, — писал Бердяев. — Оригинальность его была в том, что он не столько хотел осуществления в полноте жизни христианских принципов, сколько приобретения полнотой жизни самого Христа, как бы продолжения воплощения Христа во всей жизни».

Проблема мирской культуры, исходящей из основ христианства и проникнутой его духом, выделялась многими как самое ценное в бухаревской системе, и — по словам Зеньковского — «в преодолении секуляризма изнутри и заключается то главное, за что всегда будет поминаться имя Бухарева», сведшего на нет нарочитое противопоставление Церкви и цивилизации, якобы по сути непримиримых.

По Бухареву, в мире нет ничего ничтожного: Бог-Слово во искупление всех грехов принял человеческий облик и позорную смерть, любовь Христова всеобъемлюща, — следуя Его путем к своему спасению, человек способен снискать и благодать, даруемую в ортодоксально-кафолической Церкви как хранительнице Нового Завета, если этот человек в сущности своей не перестает быть образом Божиим и если живет не в слепом законопослушании, но в свободном приятии нравственного учения Церкви, которая не есть некий общественный институт, но храм Духа Живого; судьба личности и человечества, гармония мира и исторический процесс организованы и управляемы Промыслом Божиим, и все мы суть работники в усовершеннии Господом мира сего. Остов бухаревских построений, всеми всегда подразумеваемый и ввиду несомненности редко упоминаемый, позволял Бухареву находить аргументы внутри святоотеческой традиции, но, несмотря на обдуманную структуру того или иного бухаревского сборника, читатель, не искушенный в весьма неспокойном слогe религиозного публициста, выносил впечатление проповеди и втуне оставлял философские, значительные для теории Бухарева сентенции.

Проблема теодицеи, решаемая на современном материале, и христология как оправдание человека оказались на рубеже веков и в дальнейшем почти не востребованными: Вл. Соловьев привил к древу русской православной философии мощную гностико-софиологическую ветвь, запросившую все соки, и собственным творчеством обозначил порог, за которым христологическое направление, как бы оно ни соответствовало русскому менталитету, уже не получило должного приложения сил и

убереглось едва ли не единственно благодаря влиянию Достоевского.

Долгое время историческая проекция оказывалась слишком малою, чтобы точно определить ряд сочетаемых векторов развития русской философии, и даже крупный историк-богослов Флоровский видел в Бухареве мистика-утописта, опоздавшего родиться и более характерного для эпохи Александра I, — здесь возможна скрытая полемика с Флоренским, который полагал, что Бухарев — «явление прогностическое», упреждающе возникшее в назидание, и «будущему еще предстоит открыть архимандрита Феодора»; Флоровский и Бухареву, и Флоренскому отказывал в историческом чутье, однако в философских спорах итог иногда подводят внешние обстоятельства, а точку поставить не дано вообще.

Бухарев не исключал, что начинающийся в России «страшный кризис в движении духовной общественной жизни, и особенно мысли», приведет и к тому, что его книги тоже отправятся «на заточение в какую-нибудь умственную Сибирь», — как и случилось. Но все возвращается «на круги своя» (Еккл. 1. 6), и возвращается и смятенный и светлый мыслитель и говорит: «Се, стою у двери и стучу...» (Откр. 3. 20).

